### Лучшее из времён

#### Рэй Брэдбери

«Это было лучшее изо всех времен, это было худшее изо всех времен; это был век мудрости, это был век глупости... это были годы Света, это были годы Мрака... у нас было все впереди, у нас не было ничего впереди...»

Было лето 1929 года в Гринтауне, штат Иллинойс, и мне, Дугласу Сполдингу, только что исполнилось двенадцать. Во всех концах одурманенного летним зноем города, в котором не было ни хорошо, ни плохо, только жарко, мальчишки, приклеенные к псам, и псы на мальчишках, как на подушках, лежали под деревьями, и деревья баюкали их, шепча листвой безнадежное: «Больше Ничто Никогда Не Случится». И ничто не двигалось в городе, если не считать талых капель, которые падали с огромной, с гроб величиной, глыбы льда на витрине скобяной лавки. И не было ни одного холодного человека, если не считать мисс Фростбайт, ассистентки странствующего иллюзиониста, втиснутой внутрь этой глыбы, в полость под стать ее фигуре. Вот уже третий день она лежала там для всеобщего обозрения, третий день, уверяли люди, не дышала, не ела, не говорила. Последнее, казалось мне, для женщины должно быть жестокой пыткой.

И все-таки в разгар этого долгого, проникнутого ожиданием полудня что-то случилось. Пес вдруг оттолкнул меня и сел, прислушиваясь, и язык его висел, будто конец небрежно повязанного красного галстука, а карие глаза остекленели, впитывая даль. Где-то там, у депо, среди жарких куч паровозного шлака, важно отдуваясь, крича горячей луженой глоткой, в волне дробного лязга на станцию въехал поезд. С поезда сошел человек. И я, простертый на земле у входа в подвал дедова дома, услышал далекие шаги, они приблизились и застыли перед объявлением «Стол и Кров». Открыв глаза, я увидел, как он поднимался по ступенькам — качающаяся трость и чемодан, длинные волосы, каштановые с проседью, и шелковистые усы, и бородка клинышком, — и ореол учтивости окружал его, словно стайка птиц. На крыльце он остановился, чтобы обозреть Гринтаун.

Может быть, он слышал вдали пчелиное гудение из парикмахерской, где мистер Винески, который вскоре станет его врагом, с видом прорицателя щипал косматые головы и жужжал своей электромашинкой. Может быть, он слышал, как вдали, в пустующей библиотеке, по хрупким солнечным лучам скользила вниз золотистая пыль, а в закутке кто-то скрипел и постукивал, и опять, и опять скрипел чернильным пером: тихая женщина, словно заточенная в норе одинокая большая мышь. Она тоже войдет в жизнь этого нового человека. Возможно, он и в самом деле слышал то, чему суждено было стать частью его жизни. А пока незнакомец отвернулся от своего Будущего и увидел Настоящее — меня, увидел, как мы с Псом привстали, глядя на него, гостя из Прошлого.

— Диккенс! — Он приветственно взмахнул рукой. — Меня зовут Чарлз Диккенс!

Дверь захлопнулась. Он был внутри, вместе с бабушкой, расписывался в книге постояльцев, когда я тоже хлопнул дверью и затаив дыхание уставился на имя, которое он так четко выводил на бумаге.

— Чарлз Диккенс, — разобрала опрокинутые буквы бабушка, за всю свою жизнь не прочитавшая ни одной книги. — Красивое имя.

— Красивое?! — воскликнул я. — Разрази меня гром! Это великое имя! Но я был уверен...

— Да? — Приезжий, ему было лет под шестьдесят, повернулся, и я увидел его глаза, такие же ласковые, как у Пса.

— Я думал, что вы...

— Умер! — Чарлз Диккенс рассмеялся. — Ничего подобного! Жив-здоров! И очень рад встретить здесь читателя, и почитателя, и знатока!

И вот уже мы поднимаемся наверх, бабушка несет чистое постельное белье, я несу чемодан, а навстречу нам не идет — плывет не человек — корабль: мой дедушка.

— Дедушка, — сказал я, готовясь увидеть его замешательство, — познакомься с мистером Чарлзом Диккенсом! Дедушка стиснул и тряхнул руку приезжего.

— Друзья Николаса Никльби — мои друзья!

Мистер Диккенс опешил от такого излияния, тотчас опомнился, поклонился, сказал: «Благодарю, сэр», — и пошел дальше вверх по лестнице, а дедушка подмигнул, ущипнул меня за щеку и был таков, я только рот разинул.

В отведенной ему комнате, пока бабушка хлопотала, мистер Диккенс стащил с себя тяжелое, почти зимнее, пальто и кивнул на чемодан.

— Куда-нибудь, все равно. Малыш. Ты не возражаешь, если я буду звать тебя Малыш? Ой-ой, Малыш, я, кажется, куда-то задевал свои блокнот и карандаш. Ты не мог бы...

— Могу! — И я мигом вернулся с дешевым блокнотом и «Тайкондерогой ї 2».

Мистер Диккенс медленно повернулся кругом, обозревая потолок, на котором бегали яркие блики.

— Я был в пути две ночи и два дня, и в пути у меня созрел замысел. День Бастилии — слышал о нем, Малыш? Ко Дню Бастилии новая книга должна выйти в плавание. Ты поможешь мне взломать затворы дока революции, Малыш? Поможешь?

Я лизнул карандаш.

— Вверху страницы: название. Название. Название. — Он задумался, закрыв глаза и потирая щеку. — Малыш, какое-нибудь хорошее, неизбитое название для романа, действие которого происходит наполовину в Лондоне, наполовину в Париже...

— По... — рискнул я.

—Ну?

— Повесть, — продолжал я. Нетерпеливое:

—Ну, ну?

— Повесть о двух городах?

— В самую точку! Мэм, это умнейший мальчик. Бабушка посмотрела на меня как на незнакомца какого-нибудь, потом взбила, вспушила подушку.

— Пиши, Малыш, — сказал мистер Диккенс, — пиши, пока не забыл: «Повесть о двух городах». Теперь посредине листа: «Книга первая: Возвращение к жизни. Глава первая: То время».

Я написал. Бабушка положила чистые розовые полотенца. Мистер Диккенс прищурился, что-то погудел, повернулся и нараспев заговорил:

— «Это было лучшее изо всех времен, это было худшее изо всех времен; это был век мудрости, это был век глупости; это была эпоха веры, это была эпоха безверия; это были годы Света, это были годы Мрака; это была весна надежды, это была зима...»

— Господи, — сказала бабушка, — как красиво вы говорите.

— Мэм... — Автор благодарно кивнул. — Малыш, на чем я остановился?

— Зима отчаяния, — ответил я.

Все уже сидели за столом, когда я появился, руки еще мокрые, волосы влажные и причесанные.

— Да уж... — Бабушка поставила на стол блюдо с жареным цыпленком. — Давно ты не опаздывал к кормушке.

— Если бы вы знали! — сказал я. — Где только я не побывал сегодня. Луврский дилижанс на Луврской дороге! Париж! Столько путешествовали, даже рука закоченела.

— Париж? Лувр? Рука закоченела? — Жильцы уставились на меня.

— Он хочет сказать- с мистером Диккенсом, — объяснил дедушка.

— Диккенсом? — переспросил мистер Винески, парикмахер и главный жилец.

— Мы считаем великой честью, — дедушка гордо разрезал свою часть цыпленка, — что в нашем доме поселился писатель, который начинает новую книгу, и Дуглас — его секретарь. Верно, Дуг?

— Весь день работали, четверть отмахали! — сказал я.

— Диккенс! — вскричал мистер Винески. — Полно, не может быть, чтобы, вы поверили...

— Я верю, — сказал дедушка, — тому, что говорит мне человек, пока он не скажет другое. Тогда я верю в другое.

— Самозванец, — фыркнул парикмахер.

— Человек, — сказал дедушка. — К нам в дом пришел достойный человек. Он говорит, что он — Диккенс. Это его имя, другого я не знаю. Он дает понять, что пишет книгу. Я прохожу мимо его двери, заглядываю в комнату — да, он в самом деле пишет книгу. Что ж, я должен ему запретить? Когда очевидно, что ему необходимо написать эту книгу...

— «Повесть о двух городах», — подсказал я.

— «Повесть о двух городах», — продолжал дедушка. — Никогда не спрашивайте писателя, какого угодно писателя, почему он пишет, зачем он пишет, откуда он, куда направляется. Придет время, он скажет сам.

— Да вы тут в здравом уме или нет? — простонал мистер Винески.

— Тссс! — сказала бабушка.

Потому что вниз по лестнице спустился, в двери столовой появился и подошел к обеденному столу он, человек с длинными волосами, с бородкой клинышком, с шелковистыми усами, и он кивнул и улыбнулся, словно перед ним аудитория, а он лектор. Дедушка встал и мягко, тепло произнес:

— Леди и джентльмены, это наш новый жилец и, мы надеемся, друг — мистер Чарлз Диккенс. Мистер Диккенс, сударь, добро пожаловать.

...Ух ты, какая замечательная жизнь началась!

Не было дня, чтобы я не являлся к мистеру Диккенсу и не просиживал у него половину утра, а он диктовал, и мы путешествовали из Парижа в Лондон, обратно в Париж, делая остановки для завтрака и лимонада, а после бутербродов с яичницейопять в Лондон, и я — секретарь мистера Ч. Диккенса, Гринтаун, Иллинойс, был счастлив, ведь я сам мечтал, когда вырасту, стать писателем, и вот я познаю таинство с лучшим из них.

Только мистер Винески, парикмахер, заботил меня, мистер Винески, мой хороший друг, мой герой, трудом которого я от души восхищался, ваятель — ни больше ни меньше. Обычно я половину лета проводил в его парикмахерской, глядя, как он превращает безобразных людей в прекрасных принцев — вот какой он был мастер. Теперь же, кажется, я так загляделся на Лондон и Париж, что забыл любоваться мистером Винески и его чудесами. И мистер Винески — теперь-то я это вижукаждый вечер, приходя домой, заставал за столом этого длинноволосого писаку, которому давно бы пора постричься, и тут же сидел я, глядя на мистера Диккенса так, словно я Пес, а он Бог.

И вот однажды вечером, с месяц после того, как мы начали «Повесть о двух городах», мистер Винески во время обеда вдруг вскочил на ноги, указал пальцем на мистера Диккенса и сказал:

— Вы, сударь, мошенник и негодяй. Вы никакой не Чарлз Диккенс. Сдается мне, что вы — Красный Джо Пайк из Уилкис-боро, разыскиваемый полицией за подлог, или же вы Билл Хаммер из Хорнбилла, штат Арканзас, которого разыскивают за подлые гадости и мелкие кражи в Ускалузе. Но кем бы и чем бы вы ни были — вы, сбивающий с толку этого мальчика и издевающийся над нашей доверчивостью, — я даю вам двадцать четыре часа на то, чтобы вы убрались вон из этого города, не то я приглашу начальника полиции и попрошу его заняться вами. Либо я, либо вы, сударь, один из нас должен оставить этот дом. Простите меня, бабушка и дедушка Сполдинги, но я не могу молчать! Мне надоело слушать про сочинение романов, которые сочинены пятьдесят лет назад! Выйдите из-за стола, сударь, не то я ударю вас по лицу!

— Мистер Винески! — тревожно воскликнул дедушка, поднимаясь.

— Сударь, — спокойно сказал Чарлз Диккенс, тоже поднимаясь, — мистер Винески прав. Похоже, пришла пора мне уходить, ибо я, очевидно, истощил всеобщее терпение, понимание и снисходительность.

— Мистер Диккенс! — крикнул я.

Но прежде чем я смог его остановить, он уже был наверху и хлопнул дверью, и все сидели словно оглушенные, а мистер Винески растерянно ковырялся в еде.

Я пошел наверх и постучался в дверь, но она была заперта. Мистер Диккенс был у себя в комнате, однако не хотел отзываться, сколько я ни стучал.

Поздно вечером мистер Винески надолго ушел на прогулку, никому не сказав, куда пошел.

— Чтоб мне лопнуть, — сказал я, выйдя на переднее крыльцо и застав там дедушку, который сидел один и курил трубку. — Вызывайте плотника. Все рухнуло. Дедушка ничего не ответил, долго курил молча, наконец заговорил:

— Придется тебе самому быть своим плотником, Дуг.

— Это как понимать?

— Ты в разгар боя переметнулся от одного генерала к другому, и теперь один из генералов затужил. Вряд ли он знает, почему затужил, но уж точно, что затужил, и чувствует себя обиженным.

— Вот так штука! — Я покачал головой в отчаянии. — Но сейчас я готов ненавидеть Винески.

— Не надо. Ты подметал волосы с половиц его цирюльни. Теперь ты затачиваешь карандаши для нестриженого романиста. Бездетному человеку, знает он об этом или нет, нужен еще кто-то на свете. А тебя, Дуг, отнесло от него прочь.

— Я... — И я запнулся, и глаза мои вдруг стали плохо видеть. — Завтра я вымою окна парикмахерской и протру красно-белый шест.

Дедушка тихо кивнул.

— Я знаю, ты это сделаешь, сынок. Ты сделаешь.

Ночью я не мог уснуть. Городские часы пробили двенадцать, потом час, потом два и, наконец, три. Тут я услышал тихий плач и вышел в коридор, чтобы послушать у дверей нашего жильца.

— Мистер Диккенс? — Я тронул дверь. Она была не заперта. Плач продолжался, словно бы приглушенный двумя руками, прижатыми ко рту.

— Мистер Диккенс? — Я отважился отворить дверь. Он лежал, освещенный луной, — слезы струятся из глаз, широко раскрытые глаза устремлены на потолок, — лежал неподвижно.

— Мистер Диккенс?

— Здесь таких нет, — сказал он. Его голова покачалась из стороны в сторону. — Нет таких в этой комнате, на этой кровати, в этом мире.

— Вы, — сказал я. — Вы — Чарли Диккенс.

— Пора бы тебе сообразить, — отвечал он почти спокойно, только чуть прерывающимся голосом, — уже три часа утра.

— Знаю одно, — сказал я. — Каждый день я видел, как вы писали. Каждую ночь я слышал, как вы говорили.

— Верно, верно.

— И вы заканчиваете одну книгу, потом начинаете другую, и у вас каллиграфический почерк.

— Так и есть. — Он кивнул. — Да-да, так и есть.

— Ну! — Я обогнул его кровать. — Так с какой стати вам каяться и сокрушаться, вам, всемирно известному писателю?

— Ты знаешь, и я знаю, что я мистер Никто из Ниоткуда, на пути к Вечности, с потухшим фонарём и без единой свечи.

— К чёрту, — сказал я и пошёл к двери. Меня разозлило, что он выходит из игры. Испортить такое чудесное лето! — Спокойной ночи! — Я стукнул дверной ручкой.

— Постой!

В этом ужасном тихом крике было столько тоски, почти боли, что я опустил руку, но оборачиваться не стал.

— Малыш, — сказал старик, лежащий на кровати.

— Ну? — ворчливо отозвался я.

— Не будем горячиться. Сядь.

Я медленно сел на хлипкий стул возле тумбочки.

— Поговори со мной, Малыш.

— Господи, в три часа:

—:утра, вот именно. Отвратительнейшее время суток. Закат далеко позади, до восхода десять тысяч миль. В такую пору человек нуждается в друзьях. Дружище Малыш, поговори со мной, спроси меня о чём-нибудь.

— О чём вас спросить?

— По-моему ты знаешь.

Я подумал, вздохнул.

— Ну ладно. Кто вы?

Минуту он очень тихо лежал на своей кровати, потом незримым длинным кончиком носа нащупал на потолке нужные слова и сказал:

— Я человек, который не достиг своей мечты.

— Что это значит?

— Это значит, Дуг, что я, когда был молод, кроил себе платье не по плечу. Я так и не дорос до лучшего костюма, который висел в моём чулане. Я не стал тем, кем хотел стать.

Теперь я тоже притихю

— А кем вы мечтали стать?

— Писателем.

— Вы пробовали? — спросил я.

— Пробовал?! — воскликнул он и едва не разразился неуместным диким смехом. — Пробовал: — Он взял себя в руки. — Пресвятая богородица, да ты бы видел, сынок, сколько было потрачено слюны, чернил и пота. Я израсходовал тонны чернил, исписал гору бумаги, разбил вдребезги шесть дюжин пишуших машин, изгрыз и сточил десять тысяч мягких карандашей «Тайкондерога».

— Ух ты!

— Вот именно: «Ух ты!»

— А что вы писали?

— Чего я только не писал! Поэмы. Эссе. Трагедии. Фарсы. Рассказы. Романы. Тысяча слов в день, парень, ежедневно, тридцать лет подряд — не было дня, чтобы я не писал и не насиловал бумагу. Миллионы слов переходили с кончика моего пера на бумагу, а с бумаги в пузатую печку.

— Вы все сжигали!

— А что я должен был делать, Дуг, оклеивать стены? Латать кальсоны? Моя писанина никуда не годилась.

— Этого не могло быть!

— Не могло, да было. Не «так себе», не «ничего, сойдет». А попросту кошке под хвост. Друзья знали это, редакторы знали это, учителя знали это, издатели знали это, и в один необычный, прекрасный день, около четырех часов дня, когда мне исполнилось пятьдесят лет, даже я увидел это.

— Но нельзя писать тридцать лет и ни разу не...

— Угадать впопад? Нащупать заветную струну? Смотри пристально, Дуг, смотри долго, — ты видишь человека с необычным талантом, поразительным даром, единственного в веках человека, который вывел на бумаге пять миллионов слов и не создал ни одного, способного встать на свои хрупкие ноги и воскликнуть: «Эврика! Сделано!»

— Вы не напечатали ни одного рассказа?

— Даже шутки в две строки. Даже газетного стишка-однодневки. Даже объявления: «Ищу...» Удивительно, правда? Быть до того редкостно скучным, до того бесповоротно бездарным, что от твоих слов ни смешка, ни слезинки, ни обиды, ни ярости. Поистине искренне ваш — редкий экземпляр. Я воздвиг памятник ничтожеству на зыбучих песках. И знаешь, что я сделал в тот день, когда открыл, что из меня никогда не выйдет писатель? Я убил себя самого.

—Убили?

— Во всяком случае, писаку, который жил во мне. Взял все с собой в долгое железнодорожное путешествие, сел на открытой площадке последнего вагона для курящих, и полетели клочки моих рукописей как испуганные птицы. Я рассыпал роман по Небраске, мои поэмы в духе Гомера раскидал по Северной Дакоте, любовными сонетами усеял Южную Дакоту. Я оставил свои эссе в комнате для мужчин гостиницы «Гарвей» в Клир-Спринге, штат Айдахо. Поля и нивы знают мою прозу. Великолепное удобрение; наверно, после меня там небывалые урожаи кукурузы. В этом долгом летнем путешествии я вез с собой два чемодана моей собственной души и воздавал должное своему никудышному «я». Когда я достиг далекой конечной станции, чемоданы были пусты, было много выпито, мало съедено, пролита толика слез в уединенном купе, зато я отдал все якоря, весь мертвый груз, все мечты. Ход замедлился, вышел пар, и я, благодарение всевышнему, закончил свое путешествие с покоем и уверенностью в душе. Будто я снова родился на свет. Что я такого сделал? Прошел по земле и засорил ее бумагой, задал мусорщикам с острыми палками работы до второго пришествия. И, однако, я сказал себе: «Постой, в чем дело, что произошло? Я... я новый человек».

Он видел все это на потолке, и я тоже видел, словно кинофильм на стене в лунную ночь.

Мистер Диккенс продолжал:

— «Я новый человек», — сказал я себе, и когда я в конце долгого лета, которое было летом избавления и нежданного возрождения, сошел с поезда, то взглянул в засиженное мухами зеркало на вокзале в Свит-Уотер, штат Миссури, — моя борода отросла за два месяца без бритья, и волосы стали длиннее, и я вытащил маникюрные ножницы, и моя рука принялась делать то, что ей велел некий тайный голос. Она стригла и резала бороду, оставила клинышек, оставила усы, потом я все подправил бритвой, всмотрелся сам в себя, отступил и тихо сказал: «Чарли Диккенс — это вы?»

Человек на кровати негромко рассмеялся, вспоминая.

— Да-да, парень, так и сказал. «Чарли, говорю, мистер Диккенс, неужто это вы?» И я кивнул сам себе и воскликнул: «А кто же еще, кто еще, разрази меня гром? Сударь, пропустите, я тороплюсь на важную лекцию!» И я отошел в сторону, и я вышел в город, и я знал теперь, кто я, мне стало даже жарко при мысли о том, что я еще могу совершить в моей новой жизни, сколько работы — и какой работы — у меня впереди! Да-да, Малыш, где-то эта мысль зрела. Видно, все эти годы, что я писал и глотал горькие пилюли поражений, мое доброе старое подсознание твердило: «Ты держись. Дела обернутся совсем скверно, но в последнюю минуту я тебя выручу». И возможно, спасло меня как раз то, что прежде губило. Почтение к старшим на писательском поприще. Бог мой, Малыш, как я пожирал Толстого, упивался Достоевским; Генри Джемс — пир, Мопассан — плотный завтрак, Флобер — вино и цыпленок на вольном воздухе! Возможно, я слишком много читал и чересчур преклонялся перед богами. Но когда исчезли мои труды, их труд остался. Вдруг оказалось, что я не могу забыть их книг, Малыш.

— Не могли?..

— Представь себе, я не мог забыть ни строчки, ни слова из абзацев и целых книг, какие когда-либо прошли перед моими алчными, всепожирающими глазами,

— Фотографическая память?

— Вот именно! В самое яблочко!

— Чтоб мне лопнуть, вы хотите сказать...

— Диккенс, Харди, Толстой, Малыш, — все их книги все эти годы сидят в этой старой башке, этом допотопном фотоаппарате. Попроси меня заговорить языком Киплинга. Я могу. Книги про Оз? Все перескажу! Крути меня, как обруч, я — Отелло. Скажи, чтобы сел, я — Макбет. Или лечь? Я Гамлет, умирающий долго и замысловато.

— А потом? — спросил я.

— А потом я принялся писать все книги Диккенса, одну за другой. С тех пор вот езжу по городам, парень, пишу и играю роль, играю и пишу, читаю лекции, всегда наполовину одержимый, известный и неведомый, признанный и отвергнутый, и так уже несколько лет. Останавливаюсь там, чтобы закончить «Копперфилда», тут, чтобы завершить «Домби и сына». Иногда на всю зиму забиваюсь в берлогу, и никто не подозревает, что во мне дремлет Чарли Диккенс, а потом выйду из куколки, словно весенний мотылек, и — дальше. Иногда на целое лето оседаю в каком-нибудь городе, пока не выгоняют. Да-да, выгоняют. Потому что такие, как твой мистер Винески, не прощают полета воображения, Малыш, хотя бы этот полет был таким замечательным, что дальше некуда. Он не способен считаться с людьми, парень. Ему невдомек: чтобы жить, мы все должны делать то, что должны. Кто смеется, кто плачет, кто сражается, кто бежит, и все это одно и то же — способ существовать. Его кормят ножницы, и он не понимает моего пера в чернилах и бумаги в буквах. И мне остается — лишь вещи в охапку и уходить.

— Нет! — вскричал я. — Вы не можете уехать, пока не закончите книгу!

— Малыш, глупыш, ты что, в самом деле...

— Мистер Диккенс, — сказал я, — мир ждет вашего следующего хода, он важнее всего остального на целом свете. Вы не можете прервать на середине «Повесть о двух городах».

— Малыш, Малыш... — бормотал он.

Он откинулся на подушку и закрыл глаза.

Я схватил карандаш и блокнот.

— Вы не можете, мистер Диккенс, не можете. Я жду. Жду.

И наконец, не открывая глаз, мистер Диккенс сказал:

— Где мы остановились вчера, парень?

— «Мадам Дефарк вязала на гильотине»...

— Да, — сказал мистер Диккенс. — Мадам Дефарк — гильотина. Ладно, парень, давай. Слушай. Пиши...

Он говорил. Я писал. Часы пробили четыре утра. Мистер Диккенс уснул. Я вышел на цыпочках из комнаты и затворил дверь.

— Доброе утро, мистер Диккенс!

Я с маху сел на стул в столовой. Мистер Диккенс уже наполовину управился с горкой блинов. Я откусил от своего блина и увидел еще более высокую гору бумаги на столе между нами.

— Мистер Диккенс? «Повесть о двух городах»... Вы ее... закончили?

— Готово. — Мистер Диккенс ел, не поднимая глаза. — Встал в шесть. Работал вовсю. Готово. Конец. Все.

— Ух ты! — сказал я.

Вдруг он поднялся, бросил недоеденный завтрак и поспешно вышел в коридор. Я услышал, как хлопнула наружная дверь, выскочил на крыльцо и увидел мистера Диккенса уже на дорожке, с чемоданом в руках.

Он шел так быстро, что мне пришлось бежать, чтобы догнать его. Он торопился на вокзал, и я то отставал, то снова забегал вперед.

— Мистер Диккенс, книга закончена, но еще не издана!

— Ты распорядишься этим, Малыш.

— Но я не умею пристраивать книги! И вообще, вы не можете сейчас уезжать. До конца лета далеко. Вас ждет еще работа; нас обоих ждет!

— Например? — Он убегал от меня. Я преследовал его, тяжело дыша.

— Например, «Мартин Чезлвит» и «Крошка Доррит».

— Твои друзья, Малыш?

— Ваши, мистер Диккенс. И если вы не напишете, они не будут жить.

— Как-нибудь перебьются. — Он завернул за угол, и я заметался вокруг него, словно птица.

— Чарли, останьтесь, я вам что-то дам. Новое название. «Записки Пиквикского клуба»правда, здорово? «Записки Пиквикского клуба»!

Мы проходили мимо библиотеки, на каждый его шаг я делал три, и вдруг я схватил его за руку и дернул так, что он остановился.

— Мистер Диккенс, поезд отходит в полдень, до тех пор есть два часа, верно? Подарите мне десять минут из этих двух часов, или, честное слово, я пойду домой и не буду дочитывать «Повесть о двух городах»!

Удивительно. Это его остановило. Он посмотрел на меня сперва недоверчиво, потом с непритворной обидой.

— Малыш, — мягко произнес он. — Ты это искренне?

— Мне наплевать, что будет дальше с Сиднеем Картоном!

— Но ведь это лучшее, самое лучшее изо всего, что я когда-либо написал, Малыш, — сказал он. — Ты должен ее прочитать.

— Почему? — закричал я. — С какой стати? — Почему? — Он пытливо посмотрел на меня, потом назвал причину: — Потому, Малыш, что я писал ее для тебя.

— Я прочту при одном условии, — ответил я. — Если вы пойдете со мной и познакомитесь с одним человеком.

— Десять минут? — спросил он.

— Десять минут.

Мы поднялись по ступенькам библиотеки и вошли.

Библиотека была будто каменный карьер, над которым десять тысяч лет не выпадали дожди. Погляди в одну сторону, сколько хватает глаз, — тишина. Погляди в другую сторону — безмолвие.

Мы, мистер Диккенс и я, остановились на пороге безмолвия. Мистер Диккенс дрожал. И вдруг я вспомнил, что за все лето ни разу не видел его здесь. Он боялся, что я сейчас подведу его к полкам с художественной литературой и там будут все его книги уже написанные, напечатанные, обрезанные, переплетенные, выданные, прочтенные и возвращенные на полку.

Будто я способен на такую глупость! И все-таки он взял меня за локоть и лихорадочно прошептал:

— Малыш, зачем мы здесь? Пошли. Здесь никого нет.

— Слушайте! — прошипел я.

Далеко-далеко, где-то за стеллажами, послышался такой звук, словно бабочка повернулась с боку на бок во сне. И еще — будто крохотный ноготок скреб крышку.

— Слышите! — прошептал я.

Глаза мистера Диккенса расширились.

— Я знаю этот звук, — сказал он, помолчал, затаив дыхание, и кивнул. — Там кто-то пишет.

— Да, сэр.

— Пишет пером. И пишет... да... пишет стихи, — вымолвил мистер Диккенс. — Ну конечно, где-то там кто-то пишет стихотворение, верно? Завитушка, завитушка, черточка, завитушка. Это не цифры, Дуг, не цифры и не сухие факты. Слышишьвзмах, слышишь — взлет? Стихи, клянусь богом, да, сэр, никакого сомнения — стихи!

— Мэм! — позвал я.

Бабочка перестала шевелиться.

— Не прерывай ее! — зашикал на меня мистер Диккенс. — В разгар вдохновения! Пусть пишет!

Бабочка снова принялась чиркать. Завитушка, завитушка, черточка...

— Мэм! — позвал я так мягко, так настойчиво. Что-то зашуршало в коридорах, и показалась заведующая библиотекойженщина без возраста, ни молодая, ни старая, женщина бесцветная, ни смуглая, ни бледная, женщина без роста, ни маленькая, ни высокая, — женщина, которая часто говорила сама с собой там, среди сумрачных пыльных стеллажей, говорила шепотом, словно это шелестели страницы.

Она шла, неся неяркую лампу своего лица, освещая себе путь своим взором. Губы шевелились — она перебирала слова в безбрежном пространстве за ее туманными зрачками.

Чарли жадно читал ее губы. Он кивнул. Он подождал, когда она остановится и увидит нас. Вдруг взгляд ее прояснился.

Она тихо ахнула, потом рассмеялась над собой.

— О, Дуглас, это ты и... — Ее лицо подобрело. — Вы ведь друг Дуга, мистер Диккенс, верно?

Чарли смотрел на нее с тихим, почти пугающим обожанием.

— Мистер Диккенс... — Я тронул его за локоть. — Разрешите представить вам.

— «И смерть меня не остановит»... — прочел Чарли по памяти, закрыв глаза.

Библиотекарша мигнула, и лоб ее побелел, словно в лампе прибавили свет.

— Мисс Эмили, — сказал он.

— Ее зовут... — начал я.

— Мисс Эмили, очень приятно. — Он протянул ей руку. Она коснулась кончиков его пальцев.

— Очень приятно, — отозвалась она. — Но как...

— Мисс Эмили, — сказал он, — вы — поэт. Я слышал, как вы там скрипели пером.

— Что вы, пустяки.

— Выше голову, больше смелости, — ласково молвил он. — Это вовсе не пустяки. Я видел, как вы говорили про себя, когда шли, несколько строк. Я умею читать по губам, мэм.

— О, — она глотнула. — Тогда вы знаете...

— «И смерть меня не остановит» — чудесное стихотворение.

— Мои собственные стихи такие скверные, — волнуясь, произнесла она. — Вот я и переписываю ее сочинения, чтобы научиться.

— Переписываете кого? — ляпнул я.

— Превосходный способ учиться.

— Правда, в самом деле? — Она пристально поглядела на Чарли, проверяя, не шутит ли он. — Ваши слова для меня очень много значат, мистер Диккенс. — Она зарделась. — Я прочла все ваши книги.

— Все? — Он попятился.

— Все те, — поспешно добавила она, — которые вы до сих пор издали, сэр.

— Он только что закончил еще одну, — вставил я. — «Повесть о двух городах».

— А вы, мэм? — любезно спросил Чарли.

Она раскрыла свои ладошки, словно выпуская птицу.

— Я? Что вы, я не послала ни одного стихотворения даже в городскую газету.

— Вы должны это сделать! — воскликнул он с искренним чувством и убеждением. — Завтра же. Нет, сегодня!

— Но, — ее голос потускнел, — мне даже некому сперва прочесть их.

— Полно, — спокойно возразил Чарли, — вот Малыш, вот перед вами, — прошу, возьмите мою карточку — «Ч. Диккенс, эсквайр». Который, с вашего позволения, при случае охотно заглянет сюда, чтобы проверить, все ли благополучно в этом аркадском хранилище книг. — Он положил свою карточку на ее библиотечную конторку, прямо перед глазами у нее. — Но мы отнимаем у вас драгоценное время. Муза ждет. Дражайшая леди, до свидания.

Мистер Диккенс решительно вывел меня на солнце и чуть не споткнулся на ступеньках о свой чемодан.

Посреди газона мистер Диккенс замер на месте и сказал:

— Небо синее, парень.

— Да, сэр.

— Трава зеленая. А ветер — ты вдохни, какой благоухающий ветер. — Он повернулся, взял меня за оба плеча и поглядел мне в лицо. — Мир полон нуждающихся. Малыш, и ты их чуешь. Мир кишит покинутыми, и ты их находишь. Мир — живая мозаика, и сегодня ты, во всяком случае, сложил вместе две плитки.

Я кивнул, улыбаясь, глядя вниз.

— Верно. Мне давно хотелось привести вас в библиотеку, но... в общем...

— В общем, — сказал он, — пошли домой.

— Ух ты! — Я схватил чемодан. Он ласково помешал мне:

— Нет, мне нужно, чтобы у тебя были свободные руки. Карандаш есть?

— И бумага! — Я принялся опоражнивать карманы, чтобы найти скомканный лист бумаги и карандаш с мышиный зуб.

— Пиши название, Малыш...

Мы шли под зелеными летними деревьями. Мистер Диккенс поднял вверх свою трость и стал выводить загадку на небесах.

— Лав... — угадал я, прищурившись. Он написал в воздухе первый слог.

— ...ка, — перевел я. Еще один слог.

— древ... — прочитал я. Последнее движение тростью.

— ...ностей!

— Годится такое название, Малыш?

— Великолепно, мистер Диккенс... Чарли!

— Начинаю диктовать роман, Малыш! Глава первая.

Я лизнул карандаш и взмахнул им. Записал: «Глава первая».

— Однажды, — сказал Чарли, идя вслепую, с закрытыми глазами.

«Однажды» — вывел я.

...Ну вот почти и вся история. Мне кажется, вы сами догадаетесь, что было дальше.

Всего через месяц мы пробежали через весь город. Кто? Ну как же: Пес, Чарли Диккенс, заведующая библиотекой — да-да, заведующая библиотекой- и я, с полными горстями риса и конфетти. Рис и конфетти разлетелись по воздуху, и поезд медленно ушел вдаль, и они стояли на площадке последнего вагона и махали, пока не скрылись, и я кричал «до свиданья» и ревел, и ревнивый Пес жевал мои лодыжки от счастья, что я снова один, и мистер Винески ждал в парикмахерской, чтобы вручить мне метлу и снова видеть меня своим сыном.

В первый день осени я получил мое первое письмо от обвенчанной и путешествующей литературной четы.

Весь день я не вскрывал письмо, а вечером вышел на переднее крыльцо, сел рядом с дедушкой, разорвал наконец конверт и принялся читать вслух.

— «Дорогой Малыш, — было написано её рукой, — сегодня вечером мы в Авроре, завтра будем в Филисити, послезавтра вечером — в Элгине. У Чарли вся неделя занята лекциями и впереди светлые надежды. Мы с Чарли усердно работаем и — нужно ли говорить? — очень счастливы, чрезвычайно счастливы. Он называет меня Эмили. Малыш, ты вряд ли знаешь, чье это имя, но так звали одну поэтессу, и я надеюсь, что ты когда-нибудь возьмешь в библиотеке ее книги. Ну вот, Чарли смотрит на меня и говорит: «Это моя Эмили», — и я почти что верю ему. Нет, не почти, а верю.

Мы помешанные, малыш. Люди так говорят, мы сами это знаем и все равно продолжаем в том же духе. Помешаться на чем-то вместе даже очень хорошо. Быть помешанной и одинокой — этого я бы больше не выдержала. Чарли шлет тебе привет и просит передать, что он начал писать новую замечательную книгу, пожалуй, лучшую изо всего, что он пока сочинил, она будет называться «Холодный дом». Еще он просит передать тебе, что он твой покорный слуга, как и я, твой бывший библиотечный друг.

Р. S. Чарли говорит, что твой дедушка — вылитый Платон, только не говори ему.

Р. Р. S. Чарли — мой ненаглядный».

Письмо было подписано: «Э. Д.».

Я сложил его и передал дедушке, чтобы он мог прочитать еще раз.

— Так-так, — пробормотал дедушка, держа в руке письмо и устремив взгляд в осенний сумрак. — Так-так.

Я долго сидел, глядя на багряный край сентябрьского неба и холодные звезды.

— Знаешь, — заговорил я наконец, — по-моему, они вовсе не помешанные.

— По-моему, тоже, — сказал дедушка, раскуривая трубку и задувая спичку. — По-моему, тоже.